

ИОВ XX ВЕКА

Очень хотелось солнца.

Но солнца не было уже давно. Ни мутным летом, которого он почти не помнил, поскольку проторчал все его месяцы в полусыром подвале института, разбирая набрякшие, засаленные, склизкие фолианты с никому теперь уже не нужными отчетами о проведенных «во времена оны» исследованиях. Ни ранней осенью, когда вместо того чтобы с Ленкой и теперь уже двухлетней Анюткой рвануть, как в прошлые годы, на море, он, чертыхаясь про себя, от зари до зари по колено в грязи махал топором в деревне, пилил, строгал, приколачивал... После смерти матери отец окончательно отказался жить в Москве. В квартире, видимо, все напоминало ему о жене, а потому безмерно раздражало, и он собирался зимовать в Никитино. Николай изо дня в день под мерзко секущим дождичком добросовестно копал мелкую, неуродившуюся картошку, таскал мешки с яблоками, которые остервенелая Ленка, отдувая с лица длиннющую рыжую челку, сушила, пекла, варила, закатывала в банки; помогал старику поддомкратить дом, поменять нижние сгнившие венцы, кое-где «подлить» осыпающийся фундамент, утеплить почерневший сруб... На это, как выяснилось значительно позже, и ушли последние родительские сбережения. Хотя, впрочем, об этом никто потом не сожалел. Все

оказалось вовремя: предусмотрительный отец все купил и запас сильно загодя — словно знал, что с этой осени больше никогда не увидит в своем кошельке «ленинских» десятирублевки и двадцатипятирублевки.

Солнца не было и тогда, когда Николай с семьей вернулся в Москву. Впервые оставшись одни в крохотной темноватой родительской «трешке», они сперва растерялись. Еще не закрывшееся после смерти матери «пустое место» словно стало больше и шире. Распахнув шкаф в комнате отца и обнаружив там лишь старую кепку, сломанный зонтик и потертый ремень, Николай второй раз за этот год испытал какое-то тяжелое, подсыывающее в солнечном сплетении чувство тоски... С отъездом отца «пустота» распространилась на все комнаты, загоня молодых хозяев на кухню, где они, уложив почему-то целыми днями нудно капризничавшую Анютку, несколько вечеров подряд молча пили чай до самого того момента, когда так же молча можно было отправляться спать. Обошедший в этом году без бабьего лета сентябрь набрякал ноябрьской нудотой, наполняя комнаты сыростью и тяжелыми предчувствиями.

Ситуацию, как всегда, спасла Ленка.

— Так... Ну хватит... Эдак мы тут с тобой совсем изойдем...

И немедленно подпрягла его двигать мебель. Он покорно подчинился, не столько потому что ему хотелось перемен, сколько из желания хоть чем-то себя занять, чтобы изгнать из души эту склизкую дождливую муть. Ленка с сердито-озабоченным видом целыми днями скребла, мыла, чистила, мела. По ее указаниям он что-то сдирал и прибывал на новое место, перебирал, перетаскивал, выколачивал ковры, выбрасывал... И только Анютка со счастливым визгом, не боясь теперь быть одернутой вечно бурчащим дедом, на своих

еще не до конца слушающихся ножках носилась по всей протяженности комнатного «трамвая» — ей единственной в этой вечно сизой, промозглой мгле было по-настоящему весело.

Он по привычке каждый день уезжал на работу, хотя и понимал, что спокойно мог бы этого не делать: институт умирал. Лаборатории не работали уже давно, экспериментальные цеха окончательно встали в начале осени. В кабинете, где ранее соседствовали всего два стола — его и Виолетты Степановны, — теперь теснилось четыре. Но зато в конце коридора, у балкона, в трех последних смежных комнатах появились какие-то вдумчивые люди со шныряюще-маслеными глазами, в первый же день пришпандорившие на одну из дверей черную с золотом, словно только что упертую с кладбища табличку: «Риелторское агентство».

— Зарплату я вам чем-то должен платить? — азартно оправдывался шеф перед каждым попадавшимся ему в коридоре. — Нет, но вот чем, а?

К слову сказать, самого шефа никто никогда ни о чем не спрашивал, однако он все равно считал своим долгом остановить кого-нибудь на бегу и, заглядывая в глаза, настойчиво теребить:

— А? Нет, ну вот чем? Чем я вам должен платить зарплату, скажите на милость?

Но, невзирая на разномастных «подселенцев», которых по всем этажам становилось с каждым днем все больше и больше, зарплату он не платил уже четвертый месяц. По этому поводу мэнээсы¹ приезжали на работу к полудню, если вообще приезжали — у далеко живущих от института не было денег на транспорт. А те, кто все же добирался и оказывался за своим столом, оставшуюся часть дня растерянно перебирали бумаж-

¹ МНС — младший научный сотрудник.



ки, открывали и закрывали какие-нибудь папки, неизвестно что и зачем туда подшивая. Ранее царившая в институте атмосфера некоторой ироничной шутовскости и ласковой фамильярности, которая так нравилась Николаю, куда-то сама по себе подевалась. Люди хмуρο здоровались друг с другом, молча отсиживали за столами положенные часы и, так же неприветливо попрощавшись, растворялись в сумраке институтского лабиринта, в котором давно уже горела только каждая третья-четвертая лампочка, а затем в недвижимой водяной взвеси насупившихся осенних улиц, от которой не спасали никакие зонты.

В коридор теперь вообще старались не выходить. А если и возникала такая необходимость, то крадущимися шагами жались вдоль стен. Ибо в три последние у балкона комнаты зачастили не только дамы в изрядных шубах, сопровождаемые молодыми молчаливыми «бычками», но и крепкие, приземистые «кореша» в невероятного цвета пиджаках, за которыми так же неотступно, как за дамами, следовали не менее непреклонные «носители» причудливых телефонов. Еще вчера хорошенькие, а ныне какие-то полинявшие лаборантки, завидев шествующую в направлении могильной таблички подобную компанию, как мелкие рыбешки, ретиво брызгали в разные стороны, стараясь заскочить в первую же попавшуюся дверь и, затаившись, переждать, когда проплывет мимо этот хищный акулий косяк. Та же, которая не успевала (или ей не везло — ближайшая дверь оказывалась заперта), в ужасе замирала, натянуто улыбаясь, в ожидании либо быть потрепанной по щечке, либо ущипленной за мягкое место.

— Подумайте, какие наглецы! — низким басом презрительно провозглашала Виолетта Степановна, возвращаясь с балкона, куда она, демонстрируя полное презрение к «подселенцам», по-прежнему ходила курить

неизвестно откуда доставаемый ею дефицитнейший «Беломор». — Стойт специально консервная банка! Так нет же! Весь пол этими своими «Мальборо» загадили... Буржуины сволочные!

Протиснувшись между столами и попутно непременно снеся с них своими не утратившими с возрастом аппетитной пышности боками кипы бумаг, она с размаху плюхалась на тоскливо подвывавший под ней стул, раздраженно открывала какую-нибудь очередную, никому давным-давно не нужную папку и сосредоточенно утыкалась в стройные ряды машинописных буквоцифр, нервно зажав карандаш в не по возрасту вызывающе накрашенных ярко-алых губах.

Но Николай знал, что она также ничего не делает, как и он. Потому что делать было попросту нечего. И лишь по какой-то автоматической привычке скорее для самого себя, а не из страха нарушить дисциплину! — как раньше, ни разу не опоздав, каждое утро неизменно обгоняя Виолетту Степановну в холле, он поднимался в этот кабинет. Сев за стол, как всегда, обязательно точил все найденные на нем карандаши, наводил порядок в ворохе ручек, половина которых давно не писала, аккуратно подравнивал ряды картонных папок, стопкой высящихся на краю. И только после всего этого доставал привезенную из дому «общую» тетрадь, раскрывал ее и погружался в расчеты.

Докторскую он начал писать два года назад тайком от всех, вопреки правилам даже не заявляя тему и не утверждая ее у шефа. Хотелось все сперва понять самому, заложить прочную основу, да такую, что, даже если тему потом и переиначат, незыблемое здание концепции тем не менее не рухнуло бы под нажимом прагматики мышления начальства, и чтобы сам он не утратил интереса к собственной работе. Начал и... очень скоро понял, что сделал это зря.

Так и не осиливший рассвета день теперь обреченно угасал. Сквозь невесть какими трудами добытую Ленкой модную гардину Николаю было видно, как однообразно-серой акварелью по домам, деревьям, машинам, людям ветер размазывает омерзительную слякоть. Не разрезаемая привычным вечерним белесоватым светом мутная мгла постепенно уплотнялась — весь октябрь, как раз с того момента, как Николай окончательно перестал выходить из дому, на улицах почему-то не зажигали фонарей. Лишь изредка подъезжавший автобус выхватывал изнуренными фарами мелкую водяную сыпь — настолько, казалось бы, полностью подменившую собой воздух, что становилось трудно дышать, — и снова наступала полная тьма.

«Прям как в войну, — некстати подумал Николай, — не хватает только крест-накрест заклеенных стекол, далекой канонады и завываний сирены воздушной тревоги!»

И по какой-то безотчетной привычке прикрыв свою драгоценную, уже порядком пообтрепанную, на три четверти исписанную, вспухшую от закладок и вклеек «общую» тетрадь, он неохотно поднялся из-за отцовского письменного стола и побрел на кухню.

Щелкнул выключатель, слепой желтоватый свет залил шестиметровый квадрат, так любовно и с умом обставленный Ленкой, что в иные, более радостные времена здесь собиралось до десяти человек гостей и еще оставалось место для грифа гитары. Помимо дизайнерских навыков его жена, как оказалось, обладала еще и неплохими психологическими. Это стало понятно в первый же вечер, когда он привел ее знакомиться с родителями и она после вполне себе официально выглядевшего застолья вдруг совершенно по-свойски перемыла всю посуду, чем до самой смерти будущей свекрови заслужила ее любовь и уважение. В дальней-

шем выяснилось, что Ленка не только добросовестная хозяйка, но и, неожиданно для ее легкомысленного характера, приличная мать: с довольно своенравной Анюткой она договаривалась легко, чуть насмешливо и как-то совершенно несерьезно относясь к многочисленным капризам дочурки.

Но все эти достоинства меркли в глазах Николая перед двумя Ленкиными качествами, которые, собственно, и прекратили в свое время мучительные сомнения новоявленного аспиранта: что сперва — жениться или написать кандидатскую? Ленка была не только отчаянно-рыжей — причем того самого редчайшего, неповторимого солнечного оттенка, какой нечасто встречается среди «ржавоголовых», — но и умела улыбаться так, что, казалось, в самой темной комнате от ее тихого гортанного смеха занимался свежий летний рассвет. И поэтому, когда в их уже теперь пятилетней семейной жизни время от времени зачинались грозы — а куда же без них? — и яркие Ленкины кудряшки в гнев разметывались вокруг ее покрасневшей мордахи, Николай в тоскливом ожидании конца «семейной разборки» неизменно начинал улыбаться. Этим он, конечно, сперва доводил жену до белого каления, да так, что она порой стучала по нему своими остренькими безудержными кулачками, но тут было главное — выдержка: молчать и улыбаться. И он упорно продолжал молчать и улыбаться до тех пор, пока изнемогшая от ярости жена внезапно не начинала хохотать, и тогда, сквозь еще клубящиеся на семейном горизонте тучи пробивались те самые, так им любимые, перворассветные лучи.

Но сейчас и этого солнышка он был лишен. Ленку с Анькой на последние триста рублей Николай в середине октября отвез в Никитино к отцу, поскольку прокормить семью уже был элементарно не в состоянии.



Это решение он огласил супруге как раз в тот момент, когда она крайне внимательно изучала содержимое двух трехлитровых банок, стоявших перед ней на кухонном столе. Каждая из них примерно на треть была заполнена каким-то белым порошком.

— Так. Ну, это на сегодняшний день все, что у нас есть! — заявила она, когда он шагнул в дверной проем. — Остатки сухого молока из Анькиной гуманитарки и столько же муки... Консервная банка морской капусты. Чем мне вас кормить?

Повисла недолгая пауза — обычно нетерпеливая Ленка долгого молчания в разговоре не выносила.

— У тебя деньги есть? — наконец спросила она.

— Триста рублей... — начиная на всякий случай улыбаться, промямлил Николай.

— Понятно... хотя... что мне с твоих трехсот рублей... Тут и по талонам ни хрена достать невозможно...

И Ленка опять углубилась в созерцание содержимого банок, медитируя на него сквозь стекло.

— Лен, — он аккуратно, чтобы «не сорвать чеку», пододвинул табуретку и подсел к жене поближе, — мне кажется... Тебе с Анькой надо ехать к отцу. Там хоть какие-то запасы в доме... И коза у бабы Маши, соседки... если, конечно, не зарезали с голодухи... Аньке-то стаканчик молока не пожалеет — не жалела же до сих пор...

Ленка покраснела, набычилась, угрожающе отдула челку, но неожиданно по кухне брызнули солнечные лучи.

— Вот на твои жалкие сбережения мы все туда и доедем. Берешь свою «общую» и там за печкой, в тишине и уюте, творишь... Ты же понимаешь, что твой шеф никому ничего платить не будет.

Опять повисла пауза. Николай все еще продолжал улыбаться — так, на всякий случай.

— Угу! — Ленка отличалась удивительной сообразительностью. — Понятно... Книги... Картотеки... Библиотеки...

Она еще секунд тридцать помолчала.

— Иначе говоря, ты мне сплавляешь своего папашу, а сам тут займешься мировыми открытиями. Мы тебе здесь мешаем, да?

Но она прекрасно знала, что это не так. Их жизнь сложилась как-то сама собой, и в этом уже отлаженном механизме его первая, а теперь и намечавшаяся вторая диссертация не были той песчинкой, которая могла бы заставить сбиться всю систему. Напротив! Бывшая однокурсница и отнюдь не двоечница Ленка, может быть, решив, что одна семья двух кандидатов не выдержит, а может, просто поленившись, в аспирантуру не пошла, хотя ее усиленно туда звали. Однако к научным устремлениям мужа относилась вполне серьезно, вникала в его работу и иногда даже подавала неплохие идеи, по-прежнему досадливо отмахиваясь, когда он заговаривал о том, что и ей неплохо бы все же пойти в аспирантуру, пока не вышли сроки. По правде сказать, быть может, и он не защитился бы, не будь Ленки: все, что надо было перепечатать, — было перепечатано, сброшюровать — сброшюровано, где-то у кого-то подписать — подписано. Он и сам не заметил, как она все это ловко провернула — все его силы уходили на борьбу с шефом, тогдашним руководителем диссертации, а ныне начальником. Ибо шеф упорно настаивал на переработке целой главы, причем странным образом требовал убрать из нее все самое, по мнению Николая, ценное. И если бы не Ленкины психологические и дипломатические способности — одному богу ведомо, чем бы это все закончилось: именно она каким-то образом достигла компромисса между ними, сумев заставить Николая извлечь из диссертации требуемое

и подсказав, чем не менее ценным его можно было бы заменить...

...Ленка еще раз отдула от лица рыжую челку и поднялась.

— Ну хорошо, предположим, я сейчас соберу шмотки. А ты на что жить будешь? Может, поедем вместе?

Но она с Анькой все же осталась в деревне с дедом, а он вернулся в Москву.

— Папка-а-а-а-а! — до сих пор висел в ушах Николая душераздирающий Анькин вопль, когда дед, желая отвлечь от расставания до беспамятства любившую отца малышку, увел ее к бабе Маше смотреть на козлят. — Па-а-а-ап-ка-а-а-а!

Обмануть эту прозорливицу не представлялось возможным, ибо еще этим летом подходить к козе ей категорически запрещалось, а тут взрослые вдруг сами разрешили ее гладить. Характер у Аньки был Ленкин. И это стало понятно с момента самой первой козырной забугорной пустышки, которую кокетничавшая родившейся дочкой мамочка захотела запихнуть в рот любимому чаду на прогулке. Анька беззубыми деснами секунду пожевала соску и затем, покраснев от натуги, выплюнула через колясочный борт. Все дальнейшие усилия по продвижению этого модного приспособления заканчивались ничем: Анька категорически не желала никаких заменителей, кроме «натурального продукта» — материнской груди, лишь изредка соглашаясь на соску с бутылкой, да и то так, попить водички.

Сейчас на кухонном столе перед Николаем стояли те же две трехлитровые банки, каждая из которых примерно на треть была заполнена белым порошком: одна — мукой, другая — сухим молоком.

Оставшись в одиночестве, он сам удивился тому, насколько неприветлив. Привезя из деревни рюкзак с картошкой, яблоками и соленьями, Николай какое-то

время совершенно не задумывался о том, что будет есть. По утрам, похрустев обтертым о штаны яблоком, он закидывал в кастрюлю мелкие кругляши картошки, которые время от времени таскал потом, проголодавшись, в течение дня по одному-два, даже не морочась подчас их очистить. Как правило, сопровождал эту процедуру соленый огурец, помидор или горстка квашеной капусты, съедаемые на ходу по пути к письменному столу. Когда недели через две в доме закончился чай, то, пошарив в шкафах, Николай нашел какие-то припрятанные Ленкой травы и, не слишком разбираясь, какие и от чего, заваривал их крутым кипятком. Сперва морщился — некоторые из них оказались горьковаты, — но вскоре привык и даже стал получать своеобразное удовольствие от необычного вяжущего вкуса.

И все это не имело в конечном счете никакого значения до того момента, когда однажды в рыхлое и гнилое ноябрьское утро, по привычке сунув руку в нижний ящик холодильника, он не нащупал там ни яблока, ни картофелины. Несколько минут проведя в ступоре, Николай догадался проинспектировать полки повыше. И с удивлением обнаружил, что в целлофановых пакетах, куда Ленка при укладке рюкзака, чтобы не было так тяжело, переложила ему из банок огурцы, помидоры и капусту, ничего нет. В дальнем углу совершенно пустого холодильника лишь сиротливо светилась какая-то консерва. Достав, брезгливо поморщился: морская капуста, которую он с детства терпеть не мог. Зашвырнув ее обратно, Николай вылил остатки уже подкисшего рассола из каждого пакета себе прямо в рот, выбросил их в мусорное ведро и... отключил холодильник.

Опустившись на табуретку, он тупо уставился в пол. На сегодняшний день у него были совершенно иные планы, нежели добывать себе пропитание, — он как раз вчерне наметил вторую главу и собирался прописать



предварительные выводы. Отвлекаться ему не хотелось. Недолго поразмыслив, он высыпал из коробочки в кипяток последние крохи желтоватого сладковатого порошка — кажется, это была ромашка — и в дурном расположении духа направился к письменному столу.

Но оказалось, что день был безнадежно испорчен. Вместо стройной логической цепочки, которая так удачно собралась у него в голове, пока он медленно и с наслаждением просыпался — и чего, дурак, сразу не записал? — мысль кружила вокруг так неожиданно кончившейся картошки, отсутствия денег и, главное, омерзительной необходимости выходить на улицу. От одного только осознания того, что ему нужно будет одеться и покинуть квартиру, воротило с души.

Работа не клеилась, раздражение росло, промаявшись попусту за письменным столом часов пять, он понял, что, пока не устранил эту внезапно возникшую неприятность, к нему не вернется то спокойное и ровное расположение духа, которое уже месяц позволяло ему планомерно и методично выстукивать двумя пальцами на пишущей машинке четкие строчки диссертационного черновика.

Пришлось прекратить работу и снова двинуться на кухню.

Тщательный обыск кладовки, всех шкафчиков, ящичков и коробочек дал неутешительный результат: трав, как оказалось, больше не было, а на кухонном столе высились только две те самые трехлитровые банки, с которых, собственно, и начался его вынужденный холостяцкий быт. К этому моменту проклятый желудок уже выплясывал польку-бабочку, требуя немедленного заполнения хотя бы чем-нибудь съестным. И Николаю пришлось экспериментировать.

Первый опыт был неудачным: мутная жижа, в которую превратилась ложка муки и ложка сухого моло-

ка, разведенные водой, конечно же, пристала к сковородке — никакого масла в доме не было. Он в ярости соскребал сырые, грязно-белые лохмотья лопаткой и, от омерзения даже не прожевывая, глотал. Покончив с этой idiotской процедурой, плюхнул сковородку в мойку отмокать и пошел в отцовскую комнату. Но вид разложенных бумаг почему-то тоже вызвал отвращение, и, послонявшись по квартире в гнилых ноябрьских сумерках, он остановился перед телевизором.

Со времени отъезда жены и дочери Николай просто позабыл о его существовании и сейчас с любопытством смотрел в медленно разгорающийся экран. Когда изображение задержалось и поплыло черно-белыми мелкими квадратиками, да так, что у него даже резануло глаза, он подумал, что Анютка-таки перед отъездом успела до него добраться и что-то там покрутить. Но нет, в следующую секунду квадратики вспучились пузырем, треснули, и в образовавшуюся щель пролезла какая-то дьявольская рожа, принакрытая плохо прокрашенным блондинистым чубом. Иезуитски ухмыльнувшись, рожа шулерски предъявила в экран две свои ладони. Из них вылетели какие-то шарики с буквами, сложившимися в слова, которые Николай так и не успел прочесть.

Затем в кадре нарисовалась худая томная красотка в желтом костюме, сидящая, скромно склеив коленки, на огромном красном диване и через каждое слово, которое щебетали ее пунцовые губки, нарочито вставлявшая «а... ээ...». Николай долго вслушивался в белиберду, которую она несла, не сразу догадавшись, что ему предложено смеяться. Пока он соображал, что веселого в вопросах «Случалось ли так, что вам не удавалось спрятать под полой плаща свое помповое ружье?» и «Заклинивало ли у кого-нибудь патрон в стволе М-16?», в кадр влетел еще один плохо прокрашенный блондин и, мотая во все стороны, словно спаниель ушами, не слишком хорошо

промытыми и расчесанными длинными лохмами, диким голосом стал что-то орать. Синий пиджак на золотых пуговицах, явно размера на два превышавший размах плеч дикаря, едва поспевал за безумными телодвижениями, которые совершал его хозяин. Блондин, какое-то время поорав и покривлявшись, неожиданно достал из-за спины автомат Калашникова и начал из него палить прямо в студию. Вместо ожидаемого вопля ужаса раздался дружный смех зрителей. И опять, пока Николай соображал, над чем же он тут должен посмеяться, девица в желтом костюме вдруг выхватила у дикаря автомат, как-то неприлично зажала его у себя между ног и стала издавать томные вздохи и охи, а буйный дикарь в синем пиджаке размахивал штык-ножом. Смех теперь звучал почти непрерывно, и Николай даже пожалел, что природа наделила его слишком тяжелым для этих шуток умом — судя по всему, людям, сидящим в студии, было искренне весело. Девица же внезапно бурно-бурно задыхалась, отчаянно-оргазмически закричала «да-да-да!» и, бросив автомат, завалилась за диван. Тут дикарь, свирепо вращая глазами и насадно завывая, что, видимо, должно было показать, как он постепенно распаляется, последовательно сорвал с себя сперва синий пиджак, затем брючный ремень, белую рубашку, обнажив при этом волосатый торс с эффектными рельефными мышцами, и рыбкой нырнул вслед за девицей. После этого изображение снова зарябило черно-белым оп-артом, и стрела со страшным звуком вонзилась в «яблочко», расположенное в центре откуда-то взявшейся рулетки.

Николай нажал на кнопку, экран мигнул и так же неохотно, как включался, померк. Настроение было испорчено окончательно.

Он поплелся в комнату отца, с размаху плюхнулся на диван и нашарил на книжной полке над головой очередной пухлый том Толстого...

Однако уже на следующий день задача с поиском пропитания была решена. Оказалось, что сковородку просто нужно раскалить докрасна, и тогда мутная молочно-мучная взвесь образовывала по всей своей окружности ровную сухую лепешку, которая, присоленная, вполне годилась в пищу. Душевное равновесие было восстановлено, и Николай с азартом продолжил работу.

Теперь по утрам он готовил себе еду сразу на весь день, добросовестно растирая столовую ложку муки и сухого молока с водой в единую вязкую субстанцию. Своеобразный хлебный блин такого же омерзительного вкуса, каким было американское сухое «гуманитарное» молоко, вскоре стал привычен, и Николай теперь был озабочен только тем, чтобы этой адской смеси ему хватило как на можно более долгое время. Тут он как раз очень кстати вспомнил о тоскующей в выключенном холодильнике одинокой банке морской капусты.

Дождавшись, когда лепешка остынет, Николай аккуратно разрезал ее на четыре части, три из которых оставлял на тарелке, накрыв целлофановым пакетом, а на четвертинку в три-четыре дорожки стелил волоски морской капусты. Теперь он не только смирился с ее «склизким» вкусом, но и даже пожалел, когда она, в результате такого экономного использования, через две недели все же закончилась. Чтобы «не оскотиниться», он честно брал из буфета тарелку, перекладывал в нее этот своеобразный бутерброд, кипятил чайник и заливал бурлящую воду до краев в свою любимую кружку. Со всем этим хозяйством — вот тут бы Ленка точно начала орать, что он решил завести с таким трудом выжитых ею из квартиры тараканов! — шествовал к отцовскому письменному столу, мгновенно с головой уходя в работу. Так, во-первых, проще было не замечать, *что ты ешь*, а во-вторых, *сколько*. Поэто-

му, «вынырнув» из своего увлекательного занятия, он частенько обнаруживал, что его «завтрак» не только давно съеден, но и вполне пора «обедать». И тогда, прихватив кружку и тарелку, он не торопясь следовал в обратном направлении на кухню, отделял от блина еще одну четвертинку, снова стелил четыре-пять зеленых «волосков» и опять кипятил чайник.

От полного одиночества, сосредоточенности и отсутствия возможности, а главное — желанья куда-либо выходить его занятие становилось все интереснее и интереснее. Он стал нащупывать в том самом выставленном из «кандидатской» куске новые перспективы и возможности и так этим увлекся, что в иные дни стал свой бутерброд обнаруживать недоеденным, а кипяток в кружке — безнадежно остывшим. Тогда он решил делить блин на две части и уносить с собой в комнату сразу половинку: и правда, зачем было тратить драгоценное время на повторение всей операции четыре раза в день, если в голове стройным рядом чертились формулы, извлекались корни, брались логарифмы, вычислялись интегралы и во всем стремительном хороводе мыслей ему зачастую совершенно не было важно, жует он что-нибудь при этом или нет?..

То, что уже завтра ему будет совсем нечего есть, Николай обнаружил утром. Может быть, поэтому обошелся кружкой кипятка, ибо сама мысль о том, что надо будет где-то раздобывать денег и стоять потом в какой-нибудь очереди, для чего, естественно, ему придется выходить из дому в эту омерзительную серость, снова вызвала у него острый приступ тоски. Не привыкший лгать себе, он давно осознал, что, работая «запоем», тем самым попросту отгораживается от неприятно будоражащих его душу раздумий. Он, взрослый, неглупый, достаточно сильный человек с высшим и не самым «про-

стым» образованием, пользующийся телефоном, имеющий в доме ванну и горячую воду, живущий в XX веке в собственной стране, по улицам которой не ездят танки и не носятся очумелые мужики с автоматами, а с неба на голову не сыплются бомбы, тем не менее почему-то голодает. И коль скоро эта тщательно отгоняемая мысль все же упорно время от времени его настигала, он покорно в который раз проходил в мозгу всю сложившуюся в последние годы в стране цепочку событий, в конце которой неизменно упирался в нечто мягкое, темное, податливое и в то же время совершенно не прощупываемое и не просматриваемое. Научный его ум, не привыкший пасовать перед загадками природы, атаковал это «нечто» то с одной, то с другой стороны. Однако всякий раз, казалось бы, верно выстраиваемая им логика неизменно обрывалась в одном и том же месте: между почившим в бозе СССР и новорожденной Россией находился какой-то искусственный темный провал, через который совершенно невозможно было перебросить никакой мысленный мостик. Станным образом более всего Николай уставал не от своего научного «мозгового штурма», который, как теперь предчувствовалось, мог привести его к открытию чуть ли не мирового значения, а именно от этих вот куда менее сложных и в то же время совершенно тупиковых размышлений. Они так серьезно раздражали его своей неразрешимостью, что порождали острое чувство униженной беспомощности, и это, в свою очередь, парализовало мозг и мешало работать. А посему, шлепнув на тарелку очередную порцию лепешки, он предпочитал как можно скорее вернуться к интегралам и логарифмам, которые пусть и несколько капризная, но все же подчинялись его демиургической власти, в конечном итоге выстраивая на бумаге очертания совершенно новой, доселе никому не известной физической реальности.

Но сегодняшним утром от этой мысли ему уже нeкуда было деваться: как бы ни был он неприхотлив, но, растерев последнюю столовую ложку муки с сухим молоком, он был обречен с завтрашнего дня начать окончательно голодать или шевелиться в поисках пропитания.

Николай отставил банки, плеснул в кружку кипятку и привычно направился в отцовскую комнату, Ленкиными усилиями теперь превращенную в полноценный его кабинет, заходить в который Анютке можно было только с личного разрешения папы. Сюда, в компанию с отцовским письменным столом, в первый же день генеральной уборки был перемещен старинный дубовый книжный шкаф, который, впрочем, так и не смог вместить в себя весь накопленный Николаем к докторской интеллектуальный хлам. Пришлось собрать со всей квартиры невесть откуда взявшиеся в ней разномастные полки и выстроить из них еще одно подобие шкафа. Но и им было не под силу «заглотить» все научные труды, журналы и тетради с выписками. И потому, при всем уважении к ним, они стопками высились, пылясь, на подоконнике, придиванном столике, на одном из стульев и даже на полу. Другое дело, что разбором и систематизацией этих завалов Николай занялся буквально в первый же день после того, как отвез своих к деду, и потратил на это неделю. Каталога он, конечно, не составил, но зато стал хотя бы примерно ориентироваться, где можно найти то, что ему в данный момент необходимо.

Отхлебнув кипятку, Николай попытался углубиться в работу. Подтянув к себе нужные сейчас книги, он внимательно осмотрел торчащие из них разноцветные бумажки, нашел необходимые закладки и уже было раскрыл, собираясь сделать выписки... Но мысль о том, что надо будет что-то есть, упрямо сидела в голове, про-

ступала сквозь цифры, сбивала логические построения. Удивительным образом все это время он ел, не испытывая особенного голода, ел просто для того, чтобы есть, чтобы ничто не отвлекало от работы. Но именно сегодня при мысли о последней столовой ложке бурды у него вдруг остро засосало под ложечкой. Захотелось кофе — он прямо почувствовал этот дразнящий запах! И к нему бутерброд со сливочным маслом и вишневым, например, джемом. Усилим воли он попытался отогнать от себя эти фантазии, но перед глазами упорно возникала тарелка ароматного борща, который Ленка варила с особым мастерством и вкусом.

Он хлебнул еще кипятку и только тут понял, как ему осточертела простая горячая вода. В раздражении сломав только что тщательно отточенный карандаш, он захлопнул книгу... И снова открыл ее, решив, что работать сегодня он будет все равно, а лепешку сделает к вечеру.

Но вечер не замедлил: так как солнце в эту осень не считало нужным показывать себя даже на минуту, то мутное, бессильное, неумытое утро сразу же перетекало, не тормозя, в не менее хмурый, бомжеватый закат.

В слепом кухонном свете он не торопясь ссыпал в миску все содержимое двух банок, подлил воды из чайника и начал растирать ложкой неприятно пахнущую жижу. Мысль в такт движению тоже ходила по кругу: даже если пешком — а это часа полтора ходу! — и добраться до института, войти к шефу и прямо спросить, не хочет ли тот выплатить ему хоть что-то из задерживаемой полгода зарплаты, и даже постучать кулаком по столу — эффект будет нулевой. К тому же прогулка не доставит ему удовольствия: чувство невыносимой униженности, которое он успешно подавлял в себе работой, не выходя из дома, там, на улице, где откуда-то берутся люди, у которых есть деньги и по-

этому они что-то покупают в магазинах, обострится до невыносимости, вышибет из колеи окончательно. И он сразу же начнет тосковать — и по Ленкиной улыбке, и по дочкиным взвизгам, и даже по борщу... Одолжить тоже уже было не у кого, да и как, чем отдавать?

Чувство голода, мешающееся с ощущением безвыходности, штормило эмоции. Ложка заходила быстрее, яростно втирая «болтанку» в стенки миски. Швырнул ложку в мойку, чиркнул спичкой, да так, что она сломалась, потом второй, третьей, поднес к конфорке, почему-то обжегшись, чертыхнулся, шмякнул с размаху пустую сковороду на огонь и вдруг понял, что его охватывает бешенство. Движение было привычным, отработанным до автоматизма — так по утрам наспех перед работой он обычно жарил себе яичницу с колбасой, — кухня была знакомой, город за окнами был свой, родной до каждого закоулочка, а вот жизнь в нем... жизнь теперь была какой-то чужой.

Когда он последний раз ел колбасу? Да, и в самом деле — в тот последний день, с которого и начался отсчет его добровольного домашнего затворничества. Отвезя Ленку с Анькой и вернувшись в Москву, он на оставшиеся от поездки деньги на следующее утро добрался до института, чтобы забрать кое-что нужное из своего письменного стола. По привычке обогнав в холле гордо несущую свои туго обтянутые узкой юбкой пышные бока Виолетту Степановну и коротко поздоровавшись с ней, он направился было к лифту, но сразу понял, что тот не работает — не было перед ним привычной толкотни.

— Ну что ж, Николай! — пробасила неспешно догнавшая его Виолетта Степановна. — Иван и Максим Викторович не показываются вторую неделю, вас не было три дня... Теперь, судя по всему, и пришел он — тот день, когда сам Господь Бог показывает нам, что

с нашей научной деятельностью можно покончить раз и навсегда — пешком на седьмой лично я уже не дойду. Так сказать, естественный отбор... Через день-другой даже вам с вашим упрямством надоест отмахивать ступени до седьмого неба, и наш кабинет можно будет сдать под какой-нибудь мини-маникюрный салон. Тогда и лифт сразу заработает.

Она невесело и неожиданно для ее низкого голоса тоненько хихикнула.

— Ну что ж, Николай! До встречи в следующей жизни?

И, не дожидаясь ответа, так же неторопливо, как и шла сюда, понесла свои царственные бока обратно к выходу, раскапывая в кармане коробку с папиросами.

А Николай свернул за угол, толкнул дверь на лестницу и стал подниматься. Торопиться ему было некуда, а кое-какие выписки, сделанные летом в сыром подвале в архиве и теперь лежавшие в его столе, ему все же пригодились бы.

Единым духом поднявшись на третий, он остановился передохнуть, и тут дверь распахнулась — из холла на лестничную площадку вылетел шеф. Секундное замешательство, рукопожатие, Николай уже хотел повернуть на следующий лестничный пролет, когда шеф вдруг схватил его за рукав.

— Коленька! — такое ласковое обращение не сулило для Николая ничего хорошего.

Тем не менее он остановился.

— Коленька! — повторил шеф, придвигаясь, как всегда, излишне близко и начав по вековой привычке нервно обирать невидимые пылинки с рукава собеседника. — Ты мне как раз и нужен, я собрался тебе звонить, а ты тут и сам явился. И знаешь, так кстати, так кстати...

Николай молча ждал: единственное, чего он еще мог хотеть от этого невысокого лысоватого человека, кото-



рого давно перестал уважать, — это полагавшихся ему и за шесть месяцев задержки давно превратившихся в «пух» денег. Но разговор явно затевался не о них.

— Понимаешь, Коленька, — снова залопотал шеф. — У нас к тебе есть разговор...

— У кого у вас? — Николай насторожился.

— А у нас сегодня гости, ты не знал? А, ну да. Ну да, откуда же... Я же тебе не звонил... Только собирался... Ну, раз уж ты сегодня вдруг пришел — может, оно и к лучшему... к лучшему...

Шеф мягко взял Николая под локоть и стал вместе с ним поворачивать к ведущей навверх лестнице.

— Да, гости... и какие... а так неудобно получилось — лифт сломался... Но они — ничего... они у себя там по утрам все поголовно бегают, так что им на четвертый подняться было нетрудно... К тому же даже и хорошо: пусть видят, какие сложности испытывает советская наука! — неожиданной фистулой в гулком эхе лестничной клетки запальчиво закончил свою речь шеф.

— Я зачем вашим гостям?

— А пойдём... пойдём... они тебе сами все расскажут!

Николай «профессорский» этаж не любил и старался на нем не появляться. Его и раньше раздражали и «шикарные» псевдодеревянные панели из ДСП, которыми с претензией на роскошь были обшиты стены, и фикусы с мясистыми, лоснящимися толстыми листьями в кадках возле престижных «велюровых» разлапистых диванов и кресел, и зашарканный паркет под ногами вместо привычной выщербленной плитки «под мрамор» остальных этажей, а сейчас он и вовсе испытал приступ стыда, смешанного с брезгливостью. ДСП покрылись каким-то пыльно-масляным тусклым налетом, фикусы опустили отощавшие пожелтевшие листья, диваны потускнели, «просиделись», а кое-где сквозь потертости просвечивал поролон. Он был даже

рад тому, как быстро шеф катился по коридору на своих коротеньких ножках, не давая возможности разглядеть более мелкие признаки какого-то тотального разложения, охватившего институт несколько лет назад и сейчас представленного Николаю во всем своем гнилостном великолепии.

Идя чуть не «на рысях», они на большой скорости проскочили кабинет шефа и, свернув за угол, толкнули две тяжелые деревянные створки такого же когда-то «шикарного» ДСП с золотыми круглыми блямбами вместо ручек.

Большой актовый зал был пуст, ряды кресел не освещены, лампы горели только над так называемым президиумом, где стояли такие же, с претензией на роскошь, ДСП-панели, непрочно скрепленные в громоздкие и уродливые столы. На них, когда шеф с Николаем приблизились, стали видны рюмки из кабинетного бара шефа, бутылка «Столичной», на оберточной серой бумаге толстыми кругами порубленная сизая докторская колбаса и батон. Поодаль, возле трибуны, в кресле сидел незнакомый, ухоженный и представительный седой мужчина, второй помоложе, но тоже в очень хорошем, в тоненькую полосочку костюме-тройке, прохаживался вдоль столов, с любопытством поглядывая на таким странным образом разложенное «угощение». На противоположном конце, словно два взъерошенных воробья на ветке, примостившись на краешках стульев и напряженно глядя перед собой, сидели зав. лабораториями Петр Семенович и Андрей Ильич — его тяжелые очки с толстенными стеклами все время сползали к кончику носа, и он их нервно подпихивал указательным пальцем обратно к переносице. Стояла напряженная тишина, пахло колбасным духом и прелыми шторами.

— А это наша надежда — Семенецкий, я вам про него говорил! — радостно заулыбался шеф, настойчи-

во подталкивая Николая в спину поближе к высокому прохаживающемуся мужчине, которому пришлось протянуть руку, чтобы поздороваться. — Думал, представлю вам его через денек-другой, а он сам сегодня объявился.

— Семенецкий? — с отчетливым английским акцентом переспросил «костюм в полосочку». — А как имя? — Николай.

Пожав холеную, холодную, какую-то безучастную руку, Николай замялся, потому что «костюм в полосочку» тут же повернулся к нему спиной и направился к седому господину в кресле, с которым заговорил по-английски: Николай отчетливо разобрал перечисление всех своих регалий, тему кандидатской и что-то еще, произнесенное пониженным тоном, да так, что слов было уже не разобрать.

— Ну! Чем богаты, тем и рады! — вдруг пошло засуетился шеф, откупоривая «Столичную» и разливая ее по рюмкам. — У нас, знаете ли, все по-простому... к тому же советская наука нынче не финансируется... сами видите... как у нас тут теперь все... Давайте за знакомство?

Петр Семенович и Андрей Ильич как по команде встали, мелкой рысцой преодолели расстояние вдоль столов до рюмок, с готовностью схватили их и отставили локти — видимо, для приличия. «Костюм в полосочку» вопросительно оглянулся, седой джентльмен не пошевелился, лишь приподнял ладонь, показывая, что он пить не будет, а шеф, вдруг шмякнув рюмку на стол, завопил:

— Да! Да! Вода! Как же я забыл! — обежал трибуну, на которой стоял графин с водой и стаканами, услужливо налил и преподнес «костюму», который в благодарность неожиданно обаятельно и лучезарно улыбнулся.

— Ну, поехали? За знакомство? — Шеф занес уже было руку, но приостановился, глядя, как «костюм в полосочку» мужественно опрокинул водку в рот и тут же стал запивать водой.

— Вы чего этот балаган-то тут устроили? — тихо спросил шефа Николай. — Тарелки-то в кабинете у вас есть! Чего перед иностранцами-то позориться?

— Ничего!

Шеф неожиданно острым, оценивающим взглядом скользнул по «седовласому», бодро хватанул из рюмки беленькой и, снова лучезарно разулыбавшись, тихо прошептал:

— Нехай знают, буржуинские морды, как живет теперь советская наука! Нехай раскошеляются!

Николай, ощущая на себе неприятный, какой-то цепкий, оценивающий взгляд «седовласого», выпил и понял, что с утра да на голодный желудок водка ему «не пошла». Пришлось ляпнуть круг колбасы на батон, причем то ли оттого, что откусил слишком много, то ли оттого, что его так откровенно, почти не мигая, разглядывали, хлеб тоже «застрял» у Николая в глотке.

— Ну а теперь, Коленька, не слупи и не продешеви! — тихим шепотом, не меняя любезного выражения лица, пробормотал сквозь зубы шеф. — Итак, господа, наверное, к делу.

Услышав это, Петр Семенович и Андрей Ильич дружно поставили пустые рюмки и отбежали обратно за свой конец стола, где снова уселись рядком, и каждый достал по блокноту.

Прожевав, шеф вдруг заговорил о том, что Николай — это надежда всего института и что это стало понятно еще тогда, когда защищалась его кандидатская диссертация. Далее, в кратеньких выражениях, была очерчена суть проводимых исследований с приведени-

ем — по памяти! — некоторых цифр, после чего улыбающийся шеф торжествующе провозгласил:

— Сегодня господин Семенецкий работает над докторской диссертацией. Причем основой ее стали уникальные разработки, которые логично вытекали из его предыдущих научных интересов.

Николай поперхнулся, замер: шеф точно шпарил по его «заветной общей», почти не запинаясь и не теряя логики. В голове завертелось: откуда? Тетрадь он каждый раз приносил из дому и забирал домой... То ли от выпитого, то ли от ужаса закружилась голова и стало слегка подташнивать.

Пока «костюм в полосочку», чуть наклонившись, тихо и терпеливо переводил по-прежнему остававшемуся неподвижным и немигающим взглядом буравящему Николаю «седовласому», мысль Николаю судорожно металась в поисках ответа на самый главный вопрос: «Кто? Кто это сделал? Кто донес?»

Первое, что он подумал было, — Ленка. Ленка, Ленка, солнце мое ясное, улыбка ты моя рассветная, что же ты натворила... Николай почувствовал удущье... Ленка, радость моя, как же теперь жить-то с тобой?

Хватанув ртом затхлого зального духу, Николай опомнился: да нет, ну что же это он... Ленка — нет... Ленка не могла... Словно во сне, где все странным образом замедленно, он наблюдал, как дружные Петр Семенович и Андрей Ильич хором что-то пересказывают, демонстрируя написанное в их блокнотах, как, едва-едва пошевелившись, «седовласый» склонил голову, чтобы посмотреть записи, и понял, что под него, Николая, уже сделаны предварительные расчеты...

И вдруг в мозгу словно вспыхнул свет: Виолетта! Конечно же, Виолетта! Кто бы еще мог! Последние месяцы «подсаженные» к ним мэнээсы почти не появлялись на работе, и у них просто не было возмож-